

Генрик Сенкевич

За хлебом



Генрик Сенкевич

За хлебом

«Public Domain»

1879

Сенкевич Г.

За хлебом / Г. Сенкевич — «Public Domain», 1879

«На широких волнах океана колыхался немецкий пароход „Блюхер“, шедший из Гамбурга в Нью-Йорк. Пароход уже четыре дня был в пути, а два дня тому назад обогнул зеленые берега Ирландии и вышел в открытый океан. С палубы виднелась лишь необозримая, тяжело колышущаяся равнина, то зеленая, то серая, изборожденная грядками вспененных волн. Вдали она сливалась с горизонтом, затянутым тучами, и казалась совсем темной...»

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Сенкевич Генрик

За хлебом

I

На океане. – Размышление. – Буря. – Прибытие

На широких волнах океана колыхался немецкий пароход «Блюхер», шедший из Гамбурга в Нью-Йорк.

Пароход уже четыре дня был в пути, а два дня тому назад обогнул зеленые берега Ирландии и вышел в открытый океан. С палубы виднелась лишь необозримая, тяжело колышущаяся равнина, то зеленая, то серая, изборожденная грядками вспененных волн. Вдали она сливалась с горизонтом, затянутым тучами, и казалась совсем темной.

Местами тучи отражались в воде, и на этом сверкающем жемчужном фоне отчетливо выделялся черный корпус парохода. Обращенный носом к западу, пароход то усердно взбирался на волны, то низвергался в глубину, как будто тонул; минутами он исчезал из виду, а затем снова высоко подымался на гребни валов, так что показывалось его дно, и так шел вперед. Волны неслись к нему, а он несся к волнам и разрезал их грудь. За ним гигантской змеей вилась белая полоса вспененной воды; несколько чаек летало за рулем, кувыркаясь в воздухе с таким же пронзительным криком, как и польские чайки.

Ветер был попутный, пароход распустил паруса и шел на неполных парах. Небо прояснялось. Кое-где между разорванными тучами проглядывали клочки лазури, поминутно менявшие очертания. С тех пор как пароход вышел из гамбургского порта, стояла ветреная погода, но бури не было. Дул сильный западный ветер; минутами он затихал, и тогда паруса опадали и вяло плескались, но вскоре опять надувались и напоминали лебединую шею. Матросы в плотных шерстяных фуфайках тянули канат нижней реи грот-мачты и, протяжно выкрикивая: «Го-го-о!», мерно нагибались и подымались, а голоса их смешивались с завыванием мичманских свистков, и прерывистым дыханием трубы, извергающей клубы или кольца черного дыма.

Пользуясь хорошей погодой, пассажиры высыпали на палубу. На корме парохода показались черные пальто и шляпы пассажиров первого класса, у носа пестрела разношерстная толпа эмигрантов, едущих в трюме. Одни сидели на скамьях, покуривая коротенькие трубочки, другие лежали или, опершись о борт, поглядывали вниз на воду.

Было тут и несколько женщин с детьми на руках и жестяными фляжками, привязанными к кушаку; какие-то молодые люди, пошатываясь и спотыкаясь, прохаживались вдоль палубы, с трудом удерживая равновесие. Оки громко распевали «Wo ist das deutsche Vaterland?»¹, и хотя думали, должно быть, что никогда уже не увидят своего «Vaterland»'а, их не покидало веселое настроение. В этой толпе двое были особенно печальны и казались всем чужими: старик и молодая девушка. Оба они не понимали немецкого языка и были действительно одиноки среди чужих. Каждый из нас с первого взгляда угадал бы в них польских крестьян.

Крестьянина звали Вавжон Топорек, а девушка, Марыся, была его дочерью. Они ехали в Америку и сейчас впервые осмелились выйти на палубу. Их лица, изнуренные морской болезнью, выражали страх и удивление. Они испуганно разглядывали своих попутчиков, матросов, пароход, бурно дышащую трубу и грозные волны, обдающие пеной борта парохода. Они не решались даже разговаривать друг с другом. Вавжон ухватился одной рукой за перила, а другой придерживал свою четырехугольную шапку, боясь, чтобы ее не сорвало ветром;

¹ Где немецкое отечество? (нем.).

Марыся вцепилась в рукав отца и всякий раз, когда пароход сильнее накренился, крепче прижималась к нему и тихо вскрикивала от страха. Наконец, старик прервал молчание:

- Марыся!
- Что?
- Видишь?
- Вижу!
- А чудно тебе?
- Чудно!

На самом деле ей было страшно, а не чудно, так же как старику. К счастью для них, волнение скоро улеглось, ветер утих, и сквозь тучи проглянуло солнце. Когда они увидели «ясное солнышко», им стало легче на душе, потому что оба подумали, что «оно точнехонько такое, как в Липинцах». Действительно, все тут было для них Ново и незнакомо, и только этот пылающий лучезарный диск казался им старым, любящим другом.

Тем временем море совсем успокоилось, а немного спустя заполоскали паруса; тогда с высокой рубки раздался свисток капитана, и матросы бросились их убирать. Вид этих людей, словно повисших в воздухе над бездной, поразил Топорека и Марысю.

- Нашим парням так не сумеешь, – промолвил старик.
- Немцы влезли, так и Ясько влез бы, – возразила Марыся.
- Это какой Ясько – Собков?
- Какое там – Собков. Я про Смоляка говорю, про конюха.
- Что ж, он и вправду хват, а только выкинь ты его из головы. Ни ему до тебя, ни тебе до него дела нет. Ты едешь, чтоб стать барыней, а он как был конюх, так и останется.
- И у него тоже есть земля!
- Есть, да в Липинцах.

Марыся ничего не ответила, подумав про себя, что от судьбы не уйдешь, и с тоской вздохнула. Между тем матросы убрали паруса, зато винт с такой силой бурлил воду, что весь пароход содрогался. Качка почти совсем прекратилась, и вдали вода уже казалась гладкой и голубой. Из трюма появлялись все новые фигуры: рабочие, немецкие крестьяне, бродяги из разных приморских городов, ехавшие в Америку искать счастья, а не работы. Толпа постепенно заполнила всю палубу, и Вавжон с Марысей, чтобы не лезть никому на глаза, уселись на связке канатов в самом уголке, на носу.

- Отец, а долго нам еще ехать по воде? – спросила Марыся.
- Почему я знаю? Тут кого ни спроси, никто тебе не ответит по-нашему.
- А как же мы будем разговаривать в Америке?
- Да ведь сказывали нам, что нашего народу там тьма-тьмуца!
- Отец!
- Чего тебе?
- Чудно-то тут чудно, а в Липинцах-то все ж таки было лучше.
- Не болтай попусту.
- Через минуту, однако, Вавжон прибавил, как бы говоря самому себе:
- На все воля божья!..

У девушки глаза наполнились слезами, и оба стали думать о Липинцах. Вавжон Топорек размышлял о том, для чего он едет в Америку и как это случилось, что он поехал. Как случилось? Да вот летом, всего полгода назад, корову его захватили на чужом поле, засеянном клевером. Хозяин поля потребовал с него за потраву три рубля. Вавжон не хотел дать. Стали судиться. Дело затянулось. Мужик, захвативший корову, требовал уже не только за потраву, но и за прокорм коровы, и долг этот рос с каждым днем. Вавжону жалко было денег, и он упорствовал; тяжба уже влетела ему в копеечку, а дело все тянулось да тянулось, долг рос. Кончилось тем, что Вавжон проиграл в суде. За корову он уже бог весть сколько задолжал,

а платить было нечем, вот и забрали у него лошадь, а самого за оказанное сопротивление арестовали. Топорек извивался, как уж; к тому времени как раз подошла жатва – значит, нужны были и руки и лошадь. Он не успел вовремя свезти хлеб, потом пошли дожди, и рожь проросла в снопах. Увидел Топорек, что из-за одной потравы все его добро пошло прахом: и денег он столько потерял и скот у него пропал и весь урожай, а к весне придется ему с дочкой либо землю глотать, либо по миру идти.

До тяжбы Вавжон жил в достатке, хозяйство у него ладилося, но после суда он затосковал, а потом и запил. В корчме Вавжон познакомился с немцем, который шатался по окрестным деревням, будто бы скупая лен, а на самом деле подбивая людей ехать за море. Немец рассказывал всякие чудеса об Америке. Земли наобещал больше, чем во всей их деревне, да впридачу еще лес да луга и все даром. У мужика глаза разгорелись. Он и верил и не верил чужаку, но здешний арендатор тоже говорил, что правительство там дает каждому столько земли, «сколько кто может держать». Он это узнал от своего племянника. А немец показывал деньги, каких не только мужики, но и сам помещик в жизни своей не видывал. Соблазняли мужика, соблазняли и, наконец, соблазнили. Да и чего ради ему было тут оставаться? Из-за одной потравы он потерял столько, что на эти деньги мог бы целый год держать батрака. Так неужели ему здесь пропадать? Неужели взять палку да суму и на паперти лазаря тянуть? Нет, не бывать этому! Ударил он с немцем по рукам, распродал все свое добро – и вот едет с дочкой в Америку.

Однако путешествие оказалось не таким приятным, как он ожидал. В Гамбурге с них содрали кучу денег, а на пароходе они сидели в трюме. Необъятность океана их пугала, изнуряла качка. Никто их на пароходе не понимал, и они никого не понимали. С ними обращались как с вещами, толкали, точно камни на дороге; немцы-спутники насмехались над ним и над Марысей. В обеденный час, когда все с посудой протискивались к повару, раздававшему пищу, их отталкивали в самый конец, так что не раз они оставались голодными. Худо ему было на этом пароходе: он чувствовал себя чужим и одиноким, однако перед дочерью Вавжон бодрился, сдвигал шапку набекрень, приказывал Марысе удивляться и всему удивлялся сам, хотя ничему не доверял. Минутами его охватывало опасение, как бы эти «язычники» (так он называл своих попутчиков) не бросили их обоих в воду. А то вдруг заставят переменить веру или велят подписать такую бумагу, что невзначай черту душу продашь!

Даже самый пароход, который днем и ночью шел по беспредельным водным просторам, тряся, гудел, вспенивал воду и дышал, как дракон, а ночью пускал целые клубы огненных искр, вызывая у него подозрение и казался нечистой силой. Эти ребяческие опасения, в которых Топорек не хотел признаться даже перед самим собой, не раз овладевали им; этот польский крестьянин, оторванный от родного гнезда, был действительно настоящим ребенком. Все, что он видел, все, что его окружало, не укладывалось у него в голове, и неудивительно, что теперь, когда он сидел на куче канатов, голова его клонила под бременем тягостной неуверенности и заботы. Морской ветер шелестел у него в ушах и как бы повторял: «Липинцы! Липинцы!» Иногда этот ветер свистел, как липинецкая дудка. Солнце тоже говорило: «Как ты там, Вавжон? Я сейчас светило в Липинцах». А винт все сильнее бурлил воду, труба дышала все громче и громче, точно два злых духа, которые тащили его все дальше и дальше от Липинцев.

А между тем Марысю не покидали иные мысли, и воспоминания неотступно неслись за нею, как эти чайки или пенная дорожка за пароходом. Вспоминалось ей, как осенью поздним вечером, незадолго до отъезда, она пошла к колодцу за водой. На небе уже мерцали первые звезды, а она тащила из колодца полнее ведро и пела: «Ясек лошадей поил – Кася за водою шла», и ей почему-то было так тоскливо, словно ласточке, что жалобно поет, улетая в далекие края. Потом в темноте в лесу протяжно заиграла свирель: это Ясько Смоляк, конюх, давал ей знать, что видит, как склонился журавль у колодца, и что сейчас он придет. И действительно, вскоре послышался топот, Ясь подъехал к колодцу, соскочил с жеребца, тряхнул

густыми вихрами, а речи его вспоминались ей теперь, словно музыка. Марыся закрыла глаза, и чудилось ей, что Смоляк опять шепчет дрожащим голосом:

– Раз уж так уперся твой старик, я отдам пану задаток, продам избу, продам все хозяйство и поеду... Слышишь, Марыся, – говорил он, – куда ты поедешь, там и я буду, журавлем полечу по небу, селезнем поплыву по воде, перстнем золотым покачусь по дороге, а найду тебя, моя ненаглядная. Какая же мне жизнь без тебя? Куда ты пойдешь, туда и я пойду, что тебе суждено, то и мне суждено, одна нам жизнь и одна смерть! И как обещался я тут тебе, так пусть бог меня оставит, если я тебя оставлю, Марыся моя любимая.

Вспоминая эти слова, Марыся видела и колодец, и большой красивый месяц над лесом, и Яся, как живого. Эти думы утешили и облегчили ей душу. Ясек был парень твердый и упорный, и Марыся верила, что как он сказал, так и сделает. Только хотела бы она, чтобы он сейчас был с ней и вместе с нею слушал, как шумит море, с ним ей было бы веселей и не так страшно, потому что он никого не боялся и нигде не робел. Что-то он теперь делает в Липинцах? Там уже, наверно, выпал снег. В лес ли поехал за дровами, или лошадей чистит, а может, барин его куда-нибудь послал или велел прорубь рубить в пруду? Где-то он теперь, сердечный? И ей сразу представились Липинцы, какими они были: скрипучий снег на дороге, заря, алеющая сквозь черные голые ветви, стаи ворон, носящиеся с карканьем от леса к деревне, дым; поднимающийся из труб, замерзший журавль возле колодца, а вдали лес, окутанный снегом и розовеющий в лучах зари.

Эх, где же она теперь, куда занесла ее воля отцовская! Крутом вода, вода, зеленоватые борозды и пенистые гряды, а на этой бескрайной водной равнине только один их пароход, словно заблудившаяся птица. Вверху небо, внизу пучина, грозно шумит океан, свистит ветер, и словно плачут волны, а впереди, далеко-далеко, должно быть, – край света.

Бедный Ясек, найдешь ли ты к ней дорогу, полетишь ли соколом по небу, поплывешь ли рыбой по воде, думаешь ли ты в Липинцах о своей Марысе?

Между тем солнце медленно склонялось к западу, погружаясь в океан. На водной глади, покрытой, словно золотой чешуей, мелкой рябью, пролежала широкая солнечная дорога; она горела, ослепительно сверкала, переливаясь всевозможными красками, и терялась где-то вдалеке. Пароход, попав в эту огненную полосу, казалось, гнался за убегающим солнцем. Дым, вырывающийся из трубы, стал красным, паруса и покрытые влагой канаты – розовыми; матросы затянули песню, а тем временем лучезарный диск становился все больше и все ниже опускался в океан. Вскоре над волнами виднелась уже половина диска, потом только лучи, а потом на западе по всему небосклону разлилась багряная заря, и в этом сиянии уже нельзя было различить, где кончаются волны и где начинается небо; розовый свет, одинаково озарявший воду и небо, постепенно угасал, океан мерно и мягко роптал, словно творил вечернюю молитву. В такие минуты душа становится крылатой, оживают воспоминания; то, что любишь, любишь тогда горячее, сильнее стремишься к тому, о ком тоскуешь. Вавжон и Марыся чувствовали оба, что они теперь – словно сорванные листья, несомые ветром, а родимое их дерево растет все же не в той стороне, куда они ехали, а в той, которую они покинули, – в родной польской земле. Родина! Она благо, вся покрытая колыхающимися нивами, лугами, нежно-золотистыми от одуванчиков, заросшая лесами, испещренная соломенными крышами; в ней есть и ласточки, и аисты, и придорожные кресты, и белые домики среди лип. Родина! Низкий поклон тебе: «Слава Иисусу», а она отвечает: «Во веки веков». Она могучая, она – нежная мать, такая ласковая, самая любимая на свете. И то, что их простые крестьянские сердца не чувствовали раньше, они почувствовали теперь. Вавжон снял шапку, закатные лучи упали на его седеющие волосы. Бедняк не знал, как объяснить Марысе то, о чем он неустанно думал. Наконец, он сказал:

– Марысь, мне все сдается, что там, дома, за морем, у нас что-то осталось.

– Судьба наша и любовь наша там остались, – тихо ответила девушка, подняв к небу глаза.

Наконец, совсем стемнело, пассажиры стали расходиться с палубы, однако на пароходе поднялось необычайное движение. После такого заката ночью часто наступает буря, поэтому то и дело раздавалась команда и матросы тянули канаты. Последние пурпурные лучи угасли в море, и тотчас из воды поднялся туман, звезды загорелись и исчезли. Туман сгушался, застилая небо, горизонт и даже пароход. Можно было разглядеть только трубу и грот-мачту; фигуры моряков казались тенями. Час спустя все скрылось в беловатом тумане – даже фонарь, висевший на верхушке мачты, даже искры, вылетающие из трубы.

Пароход совсем не качало, как будто волны, обессилев, разлились под тяжестью тумана.

Надвигалась тихая, поистине глухая ночь. Внезапно среди этой тишины откуда-то с самого далекого края горизонта донесся странный шум, словно тяжелое дыхание какой-то гигантской груди; оно приближалось и становилось все громче. Порою чудилось, будто кто-то зовет из темноты, потом послышался целый хор протяжных, как бы плачущих голосов. Голоса эти лились прямо из темноты и бесконечности.

Матросы, услышав такие голоса, уверяют, что это буря вызывает ветер из ада.

Шум становился все отчетливее. Капитан в резиновом плаще с капюшоном вышел на мостик, дежурный офицер занял место перед освещенным компасом. На палубе уже не было никого из пассажиров. Вавжон и Марыся вслед за другими спустились в трюм. Здесь было тихо. Лампы, укрепленные на низком потолке, бросали тусклый свет, в котором едва видны были люди, усевшиеся кучками возле коек. Трюм был большой, но сумрачный, как всегда помещения четвертого класса. Потолок почти соприкасался с бортами парохода, койки, разделенные перегородками, напоминали скорее темные норы, чем кровати, да и весь трюм производил впечатление громадного погреба. Воздух был пропитан запахом просмоленной парусины, корабельных канатов, гнилых водорослей и сырости. Можно ли было сравнить это помещение с роскошными салонами первого класса! Достаточно было двухнедельного переезда в таком помещении, чтобы отравить легкие зараженным воздухом, получить отечную бледность и даже заболеть цингой. Вавжон с дочкой ехали всего четыре дня, но уже и сейчас никто бы не узнал прежнюю, пышущую здоровьем липинецкую Марысю в этой бледной девушке, изнуренной морской болезнью. Старый Вавжон тоже пожелтел, как воск; в первые дни путешествия они совсем не выходили на палубу, полагая, что это не разрешается. Да разве они знали, что разрешается, что воспрещается? Они тут вообще не смели шевельнуться, да и боялись отойти от своих вещей. Теперь, правда, сидели возле своих пожитков не только они, но и другие пассажиры. Узлами эмигрантов был завален весь трюм, что еще усугубляло беспорядок и мрачный вид этого помещения. Постель, одежда, съестные припасы, рабочие инструменты и жестяная посуда – все вперемешку лежало кучами на полу. На узлах сидели эмигранты, преимущественно немцы. Одни жевали табак, другие курили трубки, клубы дыма длинными полосами тянулись под низким потолком, застилая свет. По углам плакали дети, но обычный здесь шум затих; туман всех встревожил, наполнив сердца унынием и страхом. Более опытные пассажиры знали, что он предвещает бурю. Ни для кого, впрочем, уже не было тайной, что надвигается опасность, а может быть, и смерть. Только Вавжон и Марыся ни о чем не догадывались, хотя, когда открывалась дверь, явственно слышался далекий зловещий шум.

Они сидели в глубине трюма, в самом узком месте носовой части. Качка там ощущалась сильнее, а потому попутчики загнали их туда. Старик достал хлеб, который вез еще из деревни, и принялся закусывать, а девушка со скуки заплетала на ночь косы.

Однако необычная тишина, прерываемая только плачем детей, начала ее тревожить.

– Отчего это немцы нынче притихли? – спросила она.

– Почему я знаю? – по обыкновению ответил Вавжон. – Праздник у них, что ли, какой или еще что...

Вдруг пароход тряхнуло так, словно он вздрогнул пред чем-то страшным; жестяная посуда жалобно звякнула, огонь в лампах вспыхнул и загорелся ярче, послышались испуганные голоса:

– Что случилось? Что случилось?

Но ответа не было. Второй толчок, сильнее прежнего, рванул пароход, нос его внезапно поднялся и так же внезапно опустился; одновременно волна глухо ударила в круглые окна левого борта.

– Буря идет! – в ужасе прошептала Марыся.

Между тем вокруг парохода что-то зашумело, как лес, по которому внезапно пронесся вихрь, и завывало, как стая волков. Ветер ударил еще и еще раз, накренил пароход, потом закружил его, поднял на гребень вала и бросил в бездну. Судно скрипело, жестяная посуда, узлы, корзины и баулы скользили по полу, перекатываясь из угла в угол. Несколько человек упало на землю; из чьей-то подушки посыпались перья и разлетелись по трюму, стекла в лампах жалобно зазвенели.

Раздался шум, грохот, плеск воды, хлынувшей на палубу, крик женщин, плач детей, беготня, и среди этой сумятицы и хаоса слышались пронзительные свистки да глухой топот матросов, бегающих по верхней палубе.

– Пресвятая дева Ченстоховская! – шептала Марыся.

Нос корабля, где она сидела с отцом, то взлетал вверх, то обрушивался вниз, словно обезумев. Они крепко вцепились в края коек тем не менее их так кидало, что они поминутно ударялись о стены. Волны ревели все громче, потолок скрипел и трещал; казалось, вот-вот балки и доски разлетятся вдребезги.

– Держись, Марыся! – кричал Вавжон, стараясь перекрыть бурю, но ужас сдавил ему горло, как и другим пассажирам. Дети перестали плакать, женщины кричать; все только учащенно дышали, с усилием держась за предметы, прикрепленные к полу.

Ярость бури все возрастала. Стихия разбушевалась, туман смешался с ночным мраком, тучи – с водой, вихрь – с пеной. Волны с грохотом бились о корабль, швыряли его из стороны в сторону, то подбрасывая его ввысь, то низвергая чуть не до дна морского.

Лампы в трюме одна за другой гасли. Становилось все темнее, и Вавжону с Марысей казалось, что это уже предсмертный мрак.

– Марыся! – начал, задыхаясь, Вавжон прерывающимся голосом. – Прости, дочка, что увез я тебя из деревни на погибель. Пришел наш последний час. Не смотреть уж нам грешными глазами на божий мир, не исповедаться нам, не причаститься, не почием мы в родной земле, а из воды пойдем на страшный суд.

Услышав это, Марыся поняла, что спасения уже нет. Обрывки мыслей проносились у нее в голове, а в душе что-то кричало: «Ясек, Ясек, мой любимый, слышишь ли ты меня в Липинцах?»

Страшная тоска сжала ей сердце, она громко заплакала. Рыдания ее разносились по темному трюму, где все молчали, как на похоронах. Кто-то крикнул из угла: «Тихо!», но умолк, словно испугавшись собственного голоса. Между тем упало стекло еще с одной лампы, и она погасла. Стало еще темнее. Люди сбились в один угол, чтобы быть поближе друг к другу. Всюду царило тревожное молчание, как вдруг среди этой тишины раздался голос Вавжона:

– Kyrie eleison!

– Christe eleison! – рыдая, отвечала Марыся.

– Господи, услышь нас! Отец небесный! – молились они.

В темноте голоса их, прерываемые рыданиями девушки, производили странно торжественное впечатление. Многие обнажили головы. Мало-помалу девушка перестала плакать, голоса обоих стали спокойнее, чище и все отчетливее звучали под завывание бури.

Вдруг у входа раздался крик. Налетевшая волна вышибла дверь и хлынула в трюм; вода с плеском растекалась по углам; с громкими воплями женщины бросились к койкам. Всем казалось, что это уже конец.

Через минуту вошел дежурный офицер с фонарем в руке, весь мокрый и красный от ветра. Несколькоими словами он успокоил женщин, объяснив им, что вода проникла в трюм случайно и что в открытом море опасность вообще невелика.

Прошло часа два или три. Океан бушевал все неистовее. Пароход скрипел, зарывался носом по самую палубу, ложился то на один бок, то на другой, но не тонул. Мало-помалу пассажиры стали успокаиваться; некоторые даже улеглись спать. Прошло еще несколько часов, в темный трюм сквозь верхнее зарешеченное окошко просочился серый свет. На океане наступил день, бледный, точно испуганный, печальный и сумрачный, но все же он принес какую-то бодрость и надежду. Прочитав все молитвы, какие они только вспомнили, Вавжон и Марыся влезли на свои койки и крепко уснули.

Разбудил их звонок к завтраку. Но есть они не могли. Головы у них отяжелели, точно налитые свинцом; старик чувствовал себя еще хуже, чем его дочь. В его одурманенной бурей голове теперь уже ничего не укладывалось. Правда, немец, заманивший его в Америку, говорил, что ехать нужно морем, но Вавжон никак не думал, что оно так велико и что путешествие продлится столько дней и ночей. Он представлял себе, что переедет на пароме, как переезжал уже не раз в своей жизни. Если бы он знал, что море так огромно, то ни за что не поддался бы уговорам немца и остался бы в Липинцах. Мучила его еще одна мысль: не обрек ли он свою и Марысину души на погибель? Не грешно ли католику из Липинцев искушать господа бога, пускаясь в это страшное море, по которому они едут вот уже пятый день и никак не доедут до другого берега, если только есть на той стороне какой-нибудь берег. Буря стала понемногу стихать лишь через сорок восемь часов, но сомнения и страх терзали его еще семеро суток. Наконец, он решился снова выйти с Марысей на палубу, однако когда они увидели бурное, потемневшее и как будто разгневанное море, когда увидели водяные горы, надвигающиеся на судно, и бездонные движущиеся долины, то опять подумали, что разве только десница господня или какая-нибудь иная, но не человеческая, сила спасет их от этой пучины.

Постепенно, однако, погода улучшилась. Но дни шли за днями, а вокруг по-прежнему была видна только вода, вода без края и конца, то зеленая, то голубая, сливавшаяся с небом. По небу порою проносились в вышине маленькие светлые тучки; к вечеру они краснели и укладывались спать где-то на западе. Корабль гнался за ними по воде. Вавжон на самом деле уже стал подумывать, что морю так и не будет конца; он собрался с духом и решил спросить сведущих людей.

Однажды, увидев проходившего мимо матроса, Вавжон смиренно снял шапку и, поклонившись ему в ноги, спросил:

– Скажите, сделайте милость, что, скоро мы доберемся до перевоза?

О чудо! Матрос не прыснул со смеху, остановился и молча выслушал. По его обветренному красному лицу было видно, что он силится что-то вспомнить и собраться с мыслями. Наконец, он спросил по-немецки:

– Was?²

– Скоро мы доберемся до земли?

– Два дня, два дня! – с трудом произнес матрос, одновременно показывая два пальца.

– Покорно благодарю.

– Откуда вы?

– Из Липинца.

² Что? (нем.).

– Was ist das Lipiniec?³

Как раз в эту минуту подошла Марыся; она сильно покраснела, но, робко взглянув на матроса, сказала тоненьким голоском, каким обычно говорят деревенские девушки:

– Мы из-под Познани.

Матрос задумчиво разглядывал большой медный гвоздь, вбитый в борт парохода, потом поднял глаза на девушку, на ее светлые, как лен, волосы, и слабая, как будто умиленная улыбка скользнула по его обветренному лицу.

– Я был в Гданьске... – сказал он серьезно, – и понимаю по-польски... Я кашуб... ваш Bruder⁴, но это давно было! Jetzt ich bin Deutsch...⁵

Он отвернулся, поднял конец каната, который обронил во время разговора, и, крикнув по-матросски: «Го-го-о!», стал его тянуть.

С этой минуты, всякий раз, встречая Вавжона и Марысю на палубе, матрос дружелюбно улыбался Марысе. Они тоже радовались, что нашли на этом немецком пароходе хоть одну живую душу, расположенную к ним. Впрочем, путешествие уже подходило к концу. На другое утро, когда они вышли на палубу, их поразило странное зрелище. Вдали, в открытом море, что-то покачивалось на волнах; когда пароход приблизился к этому предмету, оказалось, что это большая красная бочка, дальше виднелась вторая, за ней третья, четвертая. Над водой поднимался легкий серебристый туман; море затихло, и на зеркальной глади, куда ни кинешь взгляд, плавно колыхались красные бочки. С пронзительным криком тучей летели за пароходом чернокрылые птицы. На палубе поднялось необычное движение. Матросы надели новые фуфайки, одни мыли палубу, другие начищали металлические скрепления бортов и рамы иллюминаторов, на мачте вывесили один флаг, на корме парохода другой, побольше.

Оживление и радость охватили всех; старый и малый – все высыпали на палубу; многие уже вносили наверх свои узлы и стягивали их ремнями.

При виде этих приготовлений Марыся сказала.

– Никак подъезжаем.

И она и старик приободрились. Но вот на западе показался сначала какой-то остров, за ним другой, посреди которого стояло большое здание, а вдали виднелся не то густой туман, не то туча, а может быть, дым, словом что-то смутное, неясное, бесформенное... При виде всего этого на палубе все зашумели, заволновались, стали показывать на что-то руками, пароход пронзительно засвистел, словно тоже радовался.

– Что это такое? – спрашивал Вавжон.

– Нью-Йорк, – ответил стоявший рядом с ним матрос-кашуб.

Но вот туман стал рассеиваться и, наконец, совсем растаял. По мере того как пароход разрезал серебристую воду, постепенно все яснее обрисовывались на голубом фоне очертания домов, остроконечные колокольни, высокие фабричные трубы, а над ними столбы дыма, поднимавшиеся к небу густыми клубами. Впереди высился целый лес мачт, а на их верхушках пестрели тысячи разноцветных флагов и при каждом дуновении ветерка колыхались, как цветы на лугу. Пароход подходил все ближе и ближе, город, казалось, выступал перед ним из воды. Восторг и изумление охватили Вавжона; он снял шапку и, разинув рот, смотрел не отрываясь, потом, обернувшись к дочери, промолвил:

– Марыся!

– О боже мой!

– Видишь?

– Вижу.

³ Что такое Липинец? (нем.).

⁴ Брат (нем.).

⁵ Теперь я немец (нем.).

– А ведь чудно?

– Чудно!

Однако Вавжон не только изумлялся, но и жаждал поскорее добраться до земли. Увидев зеленые берега и темные ленты парков, он обрадовался:

– Ну, слава богу! Слава богу! Лишь бы дали земли поближе к городу, вон с тем лужком, чтоб на базар недалеко ездить. Будет ярмарка, погонишь коровку иль свинью, тут сразу и продашь. А народу здесь видимо-невидимо. Был я в Польше мужиком – и хватит, а тут буду баринком... – В эту минуту перед глазами его открылся во всю длину великолепный Национальный парк. Вавжон, увидев роскошные деревья, сказал:

– Поклонюсь я низенько вельможному комиссару и скажу ему честь по чести, чтоб подарил мне хоть несколько десятин этого лесу. Уж коли поместье, так поместье. Утречком пошлю в город батрака с дровами. Слава тебе господи, теперь я и сам вижу, что немец меня не надул.

Марысе тоже улыбалась мысль о барстве, и ей почему-то пришла в голову песенка, которую в Липинцах невесты пели на свадьбах жениху:

Что же ты за пан?

Что же ты за пан?

Все твое наследство

Шапка да жупан.

Быть может, она уже собиралась запеть что-то вроде этого бедному Яську, когда он придет за ней, а она будет помещицей...

Между тем из карантина летел маленький пароходик. Человек пять или шесть поднялись на палубу. Послышались оживленные разговоры, восклицания. Вскоре подошел второй пароход, уже из города, на нем приехали агенты из отелей и гостиниц, комиссионеры, гиды, менялы и железнодорожные агенты; все они отчаянно кричали, толкались, шныряли по палубе. Вавжон и Марыся попали словно в водоворот и не знали, что делать.

Кашуб посоветовал старику обменять деньги и обещал присмотреть, чтоб его не обманули. Вавжон так и сделал. За все свои наличные он получил сорок семь долларов серебром. Тем временем пароход настолько приблизился к городу, что видны были уже не только дома, но и люди, стоявшие на набережной. Наконец, пароход, пройдя мимо множества больших и малых судов, вошел в узкий портовый док.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.